

УДК 004

ЦВЕТАЕВА О РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ПО ИМЕНАМ

Н.М. Шевченко – ст. научн. сотрудник

“Ни имен, предельных, ни соседств, совершенных, я не выбирала”.

Творческий путь М. Цветаевой был не из легких. Её часто подстерегали просто нечеловеческие трудности, и благодаря своему твердому характеру она их преодолевала. Но какой ценой?! А причина всему - ее наследственность!

Она писала: “Я отродясь - как вся наша семья – была избавлена от этих двух <понятий>: *слава* и *деньги*. <...> Первое – невозможность. Невозможность иначе. Привычка - всей жизни. Не только моей: отца и матери. В крови. Второе: мое доброе имя. Ведь я же буду – подписывать. Мое доброе имя, то есть: моя добрая слава. (Добрая слава, с просто – славой – незнакома.) Слава: чтобы обо мне говорили. Добрая слава: чтобы обо мне не говорили – плохо. Добрая слава: один из видов нашей скромности – и вся наша честность” (4-616).

Для Цветаевой “слава – следствие, а не цель” (5-287).

Среди океана человеческих душ было мало тех, кто её услышал, понял, поддержал.

“Я с рождения выкинута из круга людей, общества. За мной нет живой стены, – есть скала: Судьба” (6-152).

Цветаева знала себе цену: «она высока у знатока и любящего, нуль – у других, ибо (высшая гордость) не “держу марки”, предоставляю держать – мою – другим» (6-350). “Никакая страсть не перекричит во мне справедливости. Отсюда все мои потери” (6-617).

Но самое главное поэтесса верила в себя: “Я – много поэтов, а как это во мне спелось –

это уже моя тайна” (7-408). Она понимала, что такое талант:

“Разбросанным в пыли по магазинам,
Где их никто не брал и не берет –
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед”.

“И – главное – я ведь знаю, как меня будут любить (читать – что!) через сто лет” (6-684).

Черед настал! “Судьбоносная История” подарила миру Великую Цветаеву.

Борис Пастернак незадолго до своей смерти говорил: “Я ставлю Цветаеву на высшую ступень – она с самого начала была сформировавшийся поэт. В эпоху косноязычия у нее был свой голос – человеческий, классический... Она более крупный поэт, чем Ахматова, чьей простотой и лиризмом я всегда восхищался...” (6-279).

В рецензии на сборник Цветаевой “Версты” Р. Гуль писал: “Черты лица Марины Цветаевой за последнее время вычленились четко. Её ни с кем не спутаешь <...> Хороша Мариша Цветаева в буйности, в неистовстве. Силён голос. Много в голосе звуков. Много музыки” (М.: Костры, 1922, с.13.)

Внутренний мир души, интеллектуальность, глубокие познания в области литературы, истории, философии, архитектуры, мифологии и фольклора пронизывают всё творчество Цветаевой.

Особо поражает – таинственное притяжение мировых имен. «Всё это было. Мои стихи – дневник, моя поэзия – поэзия собственных имен. Все мы пройдем. Через пятьдесят лет все

мы будем в земле. Будут новые лица под вечным небом. И мне хочется крикнуть всем ещё живым: Пишите, пишите больше! Закрепляйте каждое мгновение, каждый жест, каждый вздох! Не презирайте “внешнего”! Цвет ваших глаз так же важен, как их выражение...» (5-230).

Для Цветаевой “внешнее” – Строй Души! “Внешнее” помогает Цветаевой создавать глубокие образы, которые превращаются в полотна великих живописцев.

Только одним предложением Цветаева способна восстановить картину мира, обозначив время, личность, положение и Судьбу: – Думала ли красавица, меценатка, европейски известная умница, воспетая поэтами и прославленная художниками, княгиня Зинаида Волконская, что её мечту о русском музее скульптуры суждено будет унаследовать сыну бедного сельского священника, который до двенадцати лет и сапогов-то не видал (5-169).

Цветаева – непревзойденный Мастер слова! В этом – ей равных – нет! “Люди не знают, как я безмерно – ценю слова! (Лучше денег, ибо могу платить той же монетой)” (4-535).

В творчестве Цветаевой все языковые знаки подвластны идеи автора, каждая единица языка выполняет определенную функцию в создании образа.

А имя собственное – это особый мир в творчестве Цветаевой. Имя помогает постичь взаимосвязь идеи и времени, через имя понять мировоззрение, оценки, эмоции.

Имя может воплотить в себе большой промежуток времени – целую жизнь и даже эпоху.

Цветаева уверена, что “имя не протекция, а дар”. (5-291) И если она произносит имя - за ним стоит личность. К каждому имени Цветаева подходит строго и со всей ответственностью, с той же требовательностью с какой к себе.

Цветаеву невозможно воспринять через мнения какого-либо исследователя ее жизни и творчества. Личный вымысел исследователя отделяет нас от истины. Цветаеву возможно понять и оценить только через призму ее мировоззрения. “Всякая рукопись – беззащитна. Я вся – рукопись”. (7-706).

Эту рукопись надо читать, чтобы хоть на мгновение приблизиться к Цветаевой как к человеку, как к матери, как к поэту, как к другу, как к женщине и увидеть личность такой, ка-

кая она была и есть. Судить о ней надо в первую очередь ее собственной мерой.

Исследовать именную систему Цветаевой очень сложно и, еще более, ответственно. Каждый образ у Цветаевой сугубо индивидуален, поэтому имена собственные в ее творчестве необходимо исследовать с новых позиций – с точки зрения концептуализации ею мира.

В творчестве Цветаевой нет ни одного имени – названного и забытого: все имена она пронесла с собой через всю недолгую жизнь – кого любила, кем дорожила, кем восхищалась, кого знала, кого помнила, кого ценила, кого читала, с кем дружила, кому писала, кого презирала, кого уважала, кого просила, кого умоляла. Все эти имена прошли через призму цветаевского мировоззрения. Она их знала и всегда имела свое мнение о каждом. О некоторых именах мнения Цветаевой меняется в зависимости от каких-либо обстоятельств, некоторые имена обрастают дополнительной информацией на протяжении всего творческого и жизненного пути Марины Цветаевой.

Чтобы наглядно показать принципы составления словаря весь мир имен в публикациях будет представлен несколькими номинациями: “Цветаева о себе и своем имени”, “Мир имен в доме Цветаевых”, “Мир искусства в именах у Марины Цветаевой”, “Современники в жизни Цветаевой”, “М. Цветаева о собаках по именам” и т.п.

Материалом словарных статей стали имена собственные, которые называет сама Цветаева, с ее личной характеристикой, а иногда и оценкой, которыми изобилует не только поэтическое и драматургическое творчество поэты, но и ее воспоминания, эссе, письма.

Дефиниция оформляется (по с.с. М. Цветаевой в семи томах. Москва, Эллис Лак, 1994.) с указанием тома и страницы. Знаки препинания воспроизводятся по текстам публикуемых источников.

В словарь включены исключительно имена людей, которых Цветаева знала и чтит, имена великих и гениев, имена тех, кого знала только Цветаева.

Данная номинация представлена сорока шестью именами очень близких и дорогих Марине людей.

Мир имен, окружающий Марину в Трехпрудном переулке намного шире, но в словарь включены лишь те имена, которые называет сама Цветаева.

В переулок сходи Трехпрудный
В эту душу моей души (1-196).

Цветаева гордилась и дорожила своим происхождением: “Город Александров Владимирской губернии, он же Александровская Слобода, где Грозный убил сына. Александров <город> Владимирской губернии, моей губернии, Ильи Муромца губернии. Оттуда – из села Талицы, близ города Шуи, наш цветаевский род. Священнический. Оттуда – Музей Александра III на Волхонке, отсюда мои поэмы по две тысячи строк и черновики к ним – в двадцать тысяч, отсюда у моего сына голова, не вмещающаяся ни в один головной убор. Большеголовые все. Наша примета. <...> И пешее сердце всех моих лесных предков от деда о. Владимира до прапрашура Ильи”. (4-139)

Для Цветаевой существует формула: “...В корнях – все. Корни – нерушимость” (7-265).

Словарь имен собственных написала сама Цветаева. Его нужно всего-навсего составить и – вот он! (приблизительно так писала Марина о русско-рильской книге, которую ей не удалось составить.)

Андрей – см. Трухачев Андрей Борисович.

Андрюша – см. Цветаев Андрей Иванович (1890–1933).

Ариадна – см. Эфрон Ариадна Сергеевна.

Асия, Ася – см. Цветаева Анастасия Ивановна.

Бернацкие – старинный дворянский род шляхетского происхождения, был внесен в одну из частей книги княжеских родов Смоленской губернии (7-302).

Бернацкий Александр (1696–1814).

У меня здесь совсем недавно умер мой польский дядя Бернацкий, которого я в первый раз и в последний видел на своем первом парижском вечере, а он все о *нашей* с ним Польше знал (7-244). Моему Александру Бернацкому 118 лет... застав четыре года XVII в., весь XVIII в. и 14 лет XIX в., т.е. всего Наполеона (7-249).

Бернацкий Лука – прадед, жил 94 года. Зато все женщины (все Марии, я – первая Марина) умирали молодые (7-248).

Семья была страшно-бедная “паныч” (прадед Лука), идя учиться в соседнее село к дьякону, снимал сапоги и надевал их только у входа в деревню, а умер “при орденах” и с пенсией “по орденам” в 6000 рублей. Герб Бернацких – мальтийская звезда с урезанным клином (– счастья!) Я *всегда*, не зная, мальтийскую звезду *до тоски* любила (7-249).

Бернацкая Мария Лукинична (1841–1869) – бабушка М. Цветаевой по материнской линии происходила из аристократического польского рода (6-483).

Такова у нас, Маринок,

Спесь, – у нас, полячек – то. (3-49).

Валерия, Лёра – см. Цветаева Валерия Ивановна.

Вера см. Эфрон Вера Яковлевна.

Волошин Максимилиан Александрович (1877–1932). Настоящая фамилия Кириенко **Волошин**.

Неутомимый ходок. Ненасытный ходок. (4-160).

Макс был прежде всего человек событийный. Как вся его душа – прежде всего – сосуществование, которое иные, не глубоко глядящие, называли мозаикой, а любители ученых терминов – *эklekтизмом*. (4-173).

Одно из жизненных призваний Макса было сводить людей, творить встречи и судьбы. (4-178).

Он так же отдавал, как другие берут. С жадностью. Давал, как отдавал.

М. Волошину я обязана первым самосознанием себя как поэта и целым рядом блаженных лет (от лето) в его прекрасном суровом Коктебеле (близ Феодосии). – И стольким еще!... (6-402).

У Макса для всякого возраста был свой облик. Друг он был из Страны Друзей...

Француз культурой, русский душой и словом, германец – духом и кровью. Так, думаю, никто не будет обижен. (4-210).

Волошина Елена Отгобальдовна. (Пра) – Мама (Макса): седые отброшенные назад волосы, орлиный профиль с голубым глазом, белый, серебром шитый, длинный кафтан, синие, по щиколотку, шаровары, казанские сапоги. Е.О. Волошина рожденная – явно немецкая фамилия Нотабене. Внешность явно германского, а не немецкого происхождения...

Первое впечатление – *осанка*. Царственность осанки. Двинется – рублем подарит. Чувство возвеличенности от одного ее милостливого взгляда. Второе естественно вытекающее из первого: *опаска*. Такая не спустит. Глубочайшая простота, костюм как прирос. (4-182).

Все: самокрутка в серебряном мундштуке, спичечница из цельного сердолика, серебряный обшлаг кафтана, нога в сказочном казанском сапожке, серебряная прядь отброшенных ветром волос – единство. Это было тело имени ее души.

Странно, о родителях Е.О. не помню ни слова, точно их и не было... (4-183).

Пра – было у слова Пра другое происхождение, вовсе не шутивное – Проматерь, Матерь здешних мест, ее орлиным оком открытых и ее трудовыми боками обжитых, Верховод всей нашей малодости, Прародительница Рода – так и не осуществившегося, Праматерь – Матриарх – Пра. О ней бы целую книгу, ибо она этой целой книгой – была, целой настоящей книгой с иллюстрациями для детей и поэтов. (4-187).

Врангель Людмила Сергеевна Едем с Муром в Фавьер. Мансардное помещение – 600 франков все лето. Внесла уже половину. Можно стирать и готовить. Есть часть сада, а в общем – 4 минуты от моря. У Людмилы Сергеевны Врангель, оказывается – рожденной Евпатьевской, т. е. Моей троюродной сестры, ибо мой отец с С.Я. Евпатьевским – двоюродные братья: жили через поле. (7-289) Но я – больше взволновалась этим открытием, чем она. (Баронесса она по мужу: не Главнокомандующему, а земскому деятелю, но – очевидно – одна семья)... (6-425)

Дурново Елизавета Петровна – мать Сергея Яковлевича. (7-184) О Лизе Дурново мне с любовью и восхищением постоянно рассказывал вернувшийся в 1917 г. Петр Алексеевич Кропоткин, и поныне помнит Николай Морозов. Есть о ней в книге Степняка “Подпольная Россия”, и портрет ее находится в Кропоткинском Музее. <...> В 1909 г. трагически умирает в Париже, – кончает с собой ее 13-летний сын, которого в школе задразнили товарищи, а вслед за ним и она. О ее смерти есть в тогдашней “Юманитэ”. (7-661)

Дурново Петр Аполлонович – дед Сергея Яковлевича, В молодости гвардейский

офицер, изображенный с Государем Николаем I, Наследником Цесаревичем и еще двумя офицерами (один из них Ланской) на именной гравюре, целый и поныне. В старости – церковный староста церкви Власия.

Мой муж – его единственный внук. (7-184).

Елизавета Евграфовна (Какаду) – <...> имя Белого прозвучало в нашем доме задолго... а именно: моей теткой, Елизаветой Евграфовной женой моего дяди, историка, профессора Дмитрия Владимировича Цветаева, и с далеко не молитвенной интонацией.

Последние времена пришли! Вот ещё какой-то Андрей Белый завелся, завтра читает лекцию. Мало им Горького – Максима, Белый – Андрей понадобился! А всего хуже, что из приличной семьи, профессорский сын, Николая Дмитриевича Бугаева сын. Почему не Бугаев – Борис, а Белый Андрей? От отца отрекаться? Видно, уж такое насочинял, что подписать стыдно?... (4-221, 222).

Что за Белый такой? Ангел или в низ – белее сумасшедший на улицу выскочил? ...Студент! – уже кричала Какаду (прозвище из-за крючковатости носа и желтизны птичьих глаз). – Учиться надо, а не лекции читать, отца позорить!

Ну, полно, полно, голубушка – ввязался мой дядя Митя... Отец – почтительный, может быть, ещё и из сына выйдет прок. – А ты как думаешь, Марина? (4-222).

Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854–1933). Нынче морю и югу – четвертый день. Сняли мансарду – просторное, но – пёкло, пёкло – но просторное – и дешевое: чердак баронессы Врангель, которая оказалась моей троюродной сестрой: ее отец, писатель народник (и врач) – поколения Чирикова. – С.Я. Елпатьевский – был двоюродный брат моего отца. (6-425)

Женечка см. Цветаева Евгения Михайловна.

Иловайская Александра Александровна (рожденная Коврайская) – на тридцать лет моложе деда и, как взрослые говорят, до сих пор красавица, а по-нашему – наоборот, потому что лицо у неё злое, нос с какими-то зачищенными ноздрями... А “родинки” – родинки просто пятна, точно шоколад ела и над гу-

бой не вытерла. Вся стянутая... и все время “пускает шпильки”... (5-107).

Но дети у А.А. – чудные. Их трое: кареокая Надя, черноокий Сережа и очень хорошенькая, толстая Оля с глазами, которые у нас в доме зовут “незабудки”.

Красота в этом доме цвела! (5-108).

Мать. Мать она была сыну, не дочерям.

Да простит мне её тень и да увидит, что я прежде всего и после всего – не сужу (5-113).

Выйдя молодой красавицей за старого Иловайского, она вышла за деньги и за имя.

Получила же ключи на пояс и на себе – крест. Ревновал он её, по домашним рассказам, мото. Жестоковыйный старик любил красоту. Никуда без себя не отпускал... Зря. Была горда и верна. Физический запрет становился духовным (5-114).

Почему? Почему и откуда запреты? А потому, что ей самой, так ещё недавно, запретили жить, потому что сама себя заживо зарыла в доме у Старого Пимена. Дочери особенно одна, растут красавицы. “Я тоже была красавица”. Дочери растут веселые. “И я смеялась”.

И вот, подсознательное (подчеркивало это трижды) вымещение на дочерях собственной загубленной жизни (5-115).

Девочек не мучили. О, им многое разрешали. У них были наряды, подруги, братья подруг, у них были билеты на парад и ложи в балет, и, главное – у них были “живые картины...”, были выезды, – поднадзорное танцевание... (5-116).

Гнет родителей – был, но гнет – исполнительный: подневольный. (Сильно говоря, мать, конечно, была *огорчительницей* колодца их молодости (5-117).

Над этими детьми был ран ранней смерти. После Нерви брат и сестра стали умирать. Не сразу. К нам за границу доходили слухи, что увидены они отцом в Спасское. Что кормит он их там овсянкой и заставляет спать с открытым окном... Сережа умер первым, Надя – месяц спустя. (5-126)

Потеряв всех А.А. осталась одна (последняя дочь Оля была за границей).

Письмо за письмом от дочери. Настоячиво зовет за границу. Но – как расстаться с вещами?... От одной мысли мороз... (5-137)

Кто-то в 1927 г. о ней из Москвы пишет дочери: “Обстановка у мамы ужасная – одна

комната, сплошь заставленная вещами, и день и ночь горит в ней свет...” (5-138).

Старый дом точно только того и ждал. Пришли шайкой. Пришли за миллионами, а нашли всего только шестьдесят четыре рубля с копейками...

Дом у старого Пимена кончился в двойной крови (5-140).

Иловайская Варвара Дмитриевна (1838–1890) – старшая дочь А.А. Иловайского от первого брака. В.Д., любимая жена нелюбимого, – другого любившая, выпевавшая свою беду под солнцем Неаполя и умершая после рождения первого сына – на полуслове, с букетом в руках, парадная, нарядная, – сгусток крови шел и шел и дошел до сердца, – В.Д., залитая кораллами, с не остывшим ещё румянцем Юга и первой радости. (5-112)

Варвара Дмитриевна любила Мурамцева, но отец не позволил – такова твердая легенда нашего трехпрудного дома 97-240)

Дом № 8 в Трехпрудном переулке (не сохранился). Этот дом Д.И. Иловайский дал в приданое своей старшей дочери Варваре Дмитриевне, когда она выходила замуж за И.В. Цветаева. (5-663)

Весной на сцену нашего зеленого тополиного трехпрудного двора выкатились кованные иловайские сундуки, приданое умершей Андриюшиной матери, красавицы Варвары Дмитриевны, первой любви, вечной любви, вечной тоски моего отца.

Красный туфелек (так мы говорили в детстве), с каблуком высотой в длину ступни (“Ну уж и ножки их были крошки!” – ахает горничная Маша), – скат черного кружева – белая шаль, бахромой метущая землю – красивый коралловый гребень. Таких вещей мы у нашей матери, Марии Александровны Мейн, не видали никогда. Ещё кораллы: в семь рядов ожерелье... (5-105). А эти красные груши – в уши. А это, с красным огнем и даже вином внутри – гранаты. А вот брошка коралловая – роза. От какой-то прабабки – мамаки – румынки. (“Говорят, актрисы были, на театре пели... – шепчет Маша нашей балтийке – бонне.

– Говорят, наш барин очень без них тосковали.

– Глупости, – басом отрезает балтийка, блюдушая честь дома, – просто богатая дочь

богатый отец. А пела, как птиц, для своё удовольствия”).... Я, робко матери: “Мама, как... красиво!”

“Не нахожу. А беречь нужно, потому что это Лёрино приданое” (5-106).

Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920) – дедушка Иловайский. Не собирательный дедушка, как “дедушка Крылов” или “дедушка Андерсен”, а самый достоверный, только не родной, а сводный.

Иловайский жил на Малой Дмитровке, в переулке у Старого Пимена. В доме Иловайских мы с Асей никогда не были, только о нем слышали. (5-107). Это был смертный дом. Все в этом доме кончалось, кроме смерти, кроме старости, кроме Иловайского (5-110).

Дмитрий Иванович Иловайский был женат два раза. Первая жена и все трое детей от первого брака умерли. Последняя же дочь Оля, для Иловайского – хуже, чем умерла: бежала к человеку европейского происхождения в Сибирь, где с ним и обвенчалась (5-108).

Иловайский мне ныне предстает в виде Харона, перевозящего в ладье через Лету одного за другим – всех своих смертных детей (5-111).

Улыбки на лице Иловайского я не видела никогда. Сомневаюсь, чтобы видели цари. Но правду – слышали. По Иловайскому выходило, что Михаил Романов был избран на царство за ничтожество. Смело, но в присутствии родных – неловко.

Это был красавец старик. Хорошего роста, широкоплечий, в девяносто лет прямой ствола, прямоносый, с косым пробором и кудрями Тургенева и его же прекрасным лбом, из под которого – ледяные большие пронизательные глаза, только на живое глядевшего оловянно. (5-110). А-здоровый!!! До сих пор верхом ездит, а как в рог трубит – уши лопаются.

Иловайского в нашем доме, как и в его собственном, часто упрекали в черствости и даже жестокости. Нет, жестоким он не был, он был именно жестоковыйным, с шей, не гнущейся ни перед чем, ни под чем, ни над чем, кроме очередного (бессрочного) труда (5-110).

Жестоковыйный старик любил красоту. Открытие Музея. <...> Первое при входе – старик в долгополой шубе (май!) “А где тут у вас раздеваются?” – “Пожалуйста, ваше пре-

восходительство”. – “А номера даете? А то шуба-то небось, бобровая, как бы при торжестве-то...”. Тесть моего отца, древний историк Иловайский (5-166).

Иловайский умер в 1919 г., 91 году от роду... (5-135).

Но подчас, ещё углубляя этот образ, Д.И. предстает мне уже не Зевесом – Гадесом, владыкой подземного царства. Зевес или Гадес – этот отец своих детей держал и вел, как Олимпиец. Таких, как он, судить нельзя. Да их больше уже не будет. Были. Но была у него одна область не олимпийская, не аидова... Это была его область ненависти: юдоненависти (5-119).

И, чтобы кончить о Д.И. знаю только, что работал до последнего дня.

Есть у меня на память о нем, с собой, его книга о моей соименнице, а отчасти и соплеменнице Марине, в честь которой меня и назвала мать. (5-136)

Иловайская Надежда Дмитриевна. Кареевка Надя, живая – каштановая и розовая, вся какая-то жгучебархатная, как персик на солнце, в своей гранатовой (Прозерпина!) пелерине (5-112).

В Надю влюблен студент Фан дер Фласс, не галланец, а киявлянен, тоже больной, тоже красивый, которого мы с Асей зовем “монастырский кот”, потому что толст и как-то особенно чист и живет в отдельном, вроде бы келье, домике. Мы с Асей носим от него Наде записки, а бывает и от неё... (5-112).

Мать Надю – стережет.

Из-за успехов Нади (неблагонадежного состава этих “успехов”) мать увозит детей из морского Нерви в сырое иловайское “спасское”. Надя плачет, Фан дер Фласс, и не один, плачет(особенно плакал один, с большой рыжей бородой и даже не из нашего пансиона, на которого Надя даже ни разу и не взглянула), наша мать плачет, мы с Асей плачем... (5-113).

Наде, умершей месяц спустя, после брата, Бог послал тяжелую смерть. Не надо научных слов для такой вечной вещи, как смерть молодой красавицы. Надя в гробу лежала красавица... с распущенными каштановыми кудрями (5-128).

Красавица Надя, *весна* для каждого встречного, застывшая аллегорией Весны, с бенгальским румянцем на персиковом. Живая красавица, застывшая красавицей спящей (5-116).

Иловайская Ольга Дмитриевна. Последняя же дочь Оля очень хорошенькая, с глазами, которые у нас в доме зовутся “незабудки”, для Иловайского – хуже, чем умерла: бежала к человеку еврейского происхождения в Сибирь, где с ним и обвенчалась (5-108). И бедная, бедностью – счастливая Оля, променявшая все Плутоновы сокровища на пшеничный колос земли, любви (5-118).

Д.И. Иловайский, плачущий горячими слезами над заочно-отвергнутым, никогда не увиденным внуком, в жилах которого течет еврейская кровь (бедным Олиным сынам, недолго зажившимся), – что же он, как не изувер-еврей, плачущий над внуком в котором течет христианская? И проклятия Д.И. последнему в живых ребенку-дочери, за то, что ввела в его род еврейство – не те же ли проклятия того же изувера дочери, опорочившей его род – христианином? (5-119).

А.А. Иловайская изредка отправляла посылки нуждающейся дочери в Сербию. (5-138)

Иловайский Сергей Дмитриевич. Сережа, живой отблеск отживших поколений, изящный, тонкий, с маленькими бачками на совершенно детском лице, светло-черноглазый, не розовый, – ярко-бледный, – живой. Мать Сережу хранит! (5-112).

Нет физического сходства без душевного. И если Сережа, весь кротость, робость, нежность, с первого взгляда казался душевно-обратным матери, то потому, что сравнивали его с нею – нынешней, а не с нею – тогдашней, его однолеткой.

Сережа, дитя её души и тела, она живая – если бы её с самого начала не убили.

В Сереже, ещё не тронутым жизнью – мы видим упокоение покорности, в ней – ожесточение покорности (5-114).

Странно: в этом красавце было какое-то сходство с Павлом, да, вопреки уродству, вопреки красоте. Павел был уродливой крайностью того типа, которого Сережа был прекрасным полюсом (5-123).

Сережа умер первый. Про смерть свою он знал. Все его земные помыслы были только о Наде (о которой он тоже знал) – увезти поскорей Надю, спасти Надю... Все иные мысли в Боге (5-126).

Какаду – см. Елизавета Евграфовна.

Ледуховская Мария – Встреча с собой живой – на портрете моей польской пробабки Графини Ледуховской... Сходство – до жути! (7-244). Пробабка графиня Ледуховская (я – ее двойник) породив семеро детей, умерла до 30-ти лет (7-248).

Лера – см. Цветаева Валерия Ивановна.

Лидия Александровна Т – см. Тамбурер Лидия Александровна.

Лиля см. Эфрон Елизавета Яковлевна.

Марина – см. Цветаева Марина Ивановна.

Мейн Александр Данилович (1836–1899) – служил чиновником канцелярии московского генерал-губернатора (5-665).

“...Мой отец, ваш дедушка Александр Данилович Мейн, как человек великодушный и справедливый, не может не любить, по крайней мере, не одаривать и не ласкать, чужого внука наравне с родными внучками, а Андриюшин дедушка, как человек черствый и очень уж старый, насилию и единственного своего внука может любить”. Так и оказалось у Андриюши “два дедушки”, а у нас с Асей – один. Наш дедушка лучше. Наш привозит бананы – и всем. Дедушка Иловайский – только золотые – и только Андриюше (5-104).

Дед Мейн не только не был еврей, а самый настоящий русский немец, к тому же редактор московской газеты – кажется “Голос” (7-248).

А.Д. Мейн, ещё до клейневского плана, до всякой зримости и осязаемости, в отцовскую мечту – поверившего его в ней, уже совсем больным, неустанно поддерживавшего и оставившего на музей часть своего состояния. Так что спокойно могу сказать, что по-настоящему заложен был музей в доме моего деда, А.Д. Мейна, в Неапалимовском переулке, на Москве-реке (5-160).

<Дядя>Митя – Цветаев Дмитрий Владимирович (1852-1920) – брат И.В. Цветаева, историк, публицист, педагог; его сын Владимир – архитектор (5-664).

– Добродушный мой дядя Митя, заслуженный профессор, автор капитального труда о скучнейшем из царей – Василии Шуйском и директор коммерческого училища...за малый рост, огромную черную бороду, прыть и черносотенство был прозван Черномор (4-222).

Надя – см. Иловайская Надежда Дмитриевна.

Нечаев-Мальцев Юрий Степанович (1834–1913) – крупнейший хрусталезаводчик в городе Гусеве, потому и ставшем Хрустальным. Нечаев-Мальцев стал главным, широко говоря – единственным жертвователем музея, таким же его физическим создателем, как отец – духовным. (Даже такая шутка по Москве ходила: “Цветаев-Мальцев”).

Нечаев-Мальцев в Москве не жил, и мы в раннем детстве его никогда не видели, зато постоянно слышали. Для нас Нечаев-Мальцев был почти что обиходом. “Телеграмма от Нечаева-Мальцева”. “Завтракать с Нечаевым-Мальцевым”. – “Ехать к Нечаеву-Мальцеву в Петербург”.

– “Что мне делать с Нечаевым-Мальцевым – жаловался отец матери после каждого из таких завтраков, – опять всякие пулярды и устрицы... Да я устриц в рот не беру, не говоря уже о всяких шабли. Ну, зачем мне, сыну сельского священника – устрицы? А заставляет, злодей, заставляет!... сердце разрывается от жалости: ведь на эту сторубливку – что можно для музея сделать! Из-за каждой дверной задвижки торгуется – что, да зачем – а на чрево свое, на этих негодных устриц ста рублей не жалеет...” Но когда в 1905 г. его заводы стали, тем нанося ему несметные убытки, он ни рубля не урезал у музея. Нечаев-Мальцев на музей дал три миллиона, покойный государь триста тысяч. Эти цифры помню достоверно (5-158, 159).

Открытие музея... Старшины глядят на Белого Орла на Нечаеве-Мальцеве, полученного им “за музей”. “Господа... Господа... Прошу... Их величества...” (5-168).

Оля – см. Иловайская Ольга Дмитриевна.

Пра см. Волошина Елена Оттобальдовна.

Сереза – см. Иловайский Сергей Дмитриевич.

Тамбурер Лидия Александровна (1870–1940) – Это – наш общий друг: друг музея моего старого отца и моих очень юных стихотворений, друг рыболовных бдений моего взрослого брата и первых взрослых побед моей младшей сестры, друг каждого из нас в отдельности и всей семьи в целом, та, в чью дружбу мы укрылись, когда не стало нашей матери – Лидия Александровна Т., урожденная

Гаврино, полуукраинка, полунеаполитанка – княжеской крови и романтической души.

Разбуженный звонком, отец уже на пороге зала, в старом своем, неизменном халате... Из других дверей, навстречу ему – явление очень красивой, очень высокой женщины, красивой, высокой *дамы* – с громадными зелеными глазами, в темной, глубокой и широкой оправе ресниц и век, как у Кармен, – и с её же смуглым, чуть терракотовым румянцем.

– Я так рано, потому что хотела первой поздравить вас с этим великим днем, самым прекрасным днем вашей жизни – и моей тоже. Да, и моей. В которой мне никогда ничего не дано было *создать*. Мне не было дано этого счастья. Поэтому я вас так и полюбила. Сразу полюбила. И буду любить – до последнего вздоха. За то, что вы – создатель. Вот именно – создатель. Я должна была первой поблагодарить вас за подвиг вашей жизни, за подвиг вашего труда. От имени России и от своего я принесла вам – вот это (5-178).

Перед ошеломленным отцом – лавровый венок.

– Наденьте его – сейчас же, тут же, на моих глазах. Пусть он увенчает ваше прекрасное, ваше благородное чело!

... – Хочу, чтоб вы знали: это – римский лавр. Я его выписала из Рима. Деревцо в кадке. А венок сплела сама. <...> Лавровый венок мы положили ему в гроб (5-179).

Трухачев Андрей Борисович – У Аси, вышедшей замуж 16-ти лет, сын Андрей, 20-ти лет, инженер. Работает на Урале. Хороший сын и юноша (7-242).

Трухачев Борис – Ася вышла замуж 16-ти лет за Бориса Трухачева, сына воронежского помещика 18-ти лет. Расстались через два года, даже меньше, а в 1918 г. он погиб в Добровольческой армии (7-244).

<Дядя>Федя – Федор Владимирович Цветаев, учитель гимназии, инспектор Московского учебного округа (1849–1901).

– “Уж и несчастье! – презрительно фыркнула нянька. – Черт лопнул! Когда дядя родной, Федя, помер, небось не плакала, а тут из-за черта паршивого, прости Господи!” – “Врешь! Врешь! Врешь!... Да разве ты не видишь, что я не плачу! Это ты сейчас будешь

плакать, когда я в тебя...когда я тебя своими руками разорву, чертовка окаянная!” (5-53).

Цветаева Анастасия Ивановна – младшая сестра М. Цветаевой.

Человек она замечательный и несчастно-счастливый. “Несчастно” – другие, “счастливый” – сама. Мы очень похожи, но я скорее брат, чем сестра: моя мать ведь хотела мальчика и с первой минуты моего осознания назвала меня Александр, я *была* Александр, – так вот всю жизнь и расплачиваюсь. Ася – я – минус Александр. А назвала она в честь *той* Аси – героини повести И.С. Тургенева “Ася” (7-257).

Ася вышла замуж 16-ти лет за Бориса Трухачева, сына воронежского помещика 18-ти лет. Расстались через два года... Второй ее муж и сын от второго мужа оба умерли в 1917 г., стало быть она с двадцати лет одна (7-244).

Цветаев Андрей Иванович (1890–1933).

Андрюша на рояле не учился, потому что был от другой матери, которая пела, и вышло бы вроде измены: дом был начисто поделен на пенье (первый брак отца) и рояль (второй)... Ни петь, ни играть на рояле он не стал, но, из Андрюши став Андреем, сам, самоучкой, саморучно и самоушно научился играть с начало на гармонике, потом на балалайке, потом на мандолине, потом на гитаре, подбирая по слуху – все, и не только сам научился, ещё и Асю научил на балалайке, и с большим успехом, чем мать на рояле: играла громко и верно.

И последней радостью матери была радость этому большому красивому, смущенно улыбающемуся неаполитанцу – пасынку, с её гитарой в руках, на которой он, присев на край её смертной постели, смущенно и уверенно играл ей все песни, которые знал, а знал – всё.

Гитару свою она ему завещала, передала из рук в руки: “Ты так хорошо играешь и тебе так идет...” (5-25).

Брат Андрей, о котором никогда ничего не знаю, ни жизни, ни окружения, ни горестей, ни радостей, ни даже адреса (5-134). Женится Андрей лет девять назад, на польке с двухлетней девочкой, которой сейчас 11 лет. Собственной его дочке только два (7-241).

Единственный внук Д.И. Иловайского и мой единственный брат Андрей в апреле 1933 г. сошел в могилу на четырнадцать всего лет пережил своего древнего деда (5-135).

Цветаева Валерия Ивановна (1883–1966).

Единственная внучка Д.И. Иловайского, полуродная сестра моя Валерия, настоящая наследница старопименовских страстей и его главной: непростения, до сих пор ещё не может простить моей матери замещение в доме её матери и, ненавидя её в наших, с Асей, голосах, лицах, жестах и даже *буквах* (5-135).

Вечерами...мать и Валерия в два голоса – пели. Эти две враждующих природы сходились только в пении, не они сходились – их голоса: негромкое смущающееся быть большим контральто матери с превышающим собственными возможностями Валериным сопрано:

Ни пламя, ни угли
Не жгут горячей,
Чем тайная страсть,
Что храню от людей.

От этих слов у меня по-настоящему начался пожар в груди...

Ни гвоздика, ни роза
Не столь хороши,
Как льнущие друг к другу
Две любящих души.

(Пер. с нем. А. Парина) (5-49).

Валерия нас с Асей любила только в детстве, когда мы выросли – возненавидела нас за сходство с матерью, особенно меня. Впервые после моей свадьбы (1912 г.) мы увиделись с ней в 1921 г., – случайно – в кафе, где я читала стихи (7-236). Валерия после долгой и очень смутной жизни (мы все трудные) – душевно – смутной! – наконец 30-ти лет вышла замуж (м.б. теперь и обвенчалась) за огромного детину-медведя, вроде богатыря, невероятно заросшего: дремучего! по фамилии Шевлягин. У нее было много детей, все умирали малолетними. Не знаю, выжил ли хоть один. Человек она необычайно трудный, прежде всего – для себя. Но мы вообще все – волки. М.б. *теперь* мы бы с ней сговорились. Не переписываемся никогда (7-244).

Цветаев Владимир Васильевич (1820–1884) – священник села Талицы, Шуйского уезда.

Я ни в чем не раскаиваюсь. Первый страх был к своему родному дедушке, отцову отцу, Шуйскому протоиерею о. Владимиру Цветаеву (по учебнику Священной истории которого,

кстати, учился Бальмонт) – очень старому уже старику, с белой бородой немножко веером и стоячей, в коробочке, куклой в руках – в которые я так и не пошла (5-46).

Цветаев Володя – “Это сын дяди Мити. Но только я с ним очень редко целуюсь. Раз. Потому что он живет в Варшаве”. (О, Володя Цветаев, в красной шелковой рубашечке! С такой же большой головой, как у меня, но её не попрекаемый! Володя все свое трехдневное пребывание непрерывно раскатывавшийся от передней к зеркалу – точно никогда паркета не видел! Володя вместо “собор” говоривший “Успенский забор” – и *меня* поправлявший! Володя, заявивший обожавшей его матери, что я, когда приеду к нему в Варшаву, буду жить в *его* комнате и спать в *его* кровати (5-45). Дядя Митя – брат И.В. Цветаева <...> его сын Владимир – архитектор. (5-664)

Цветаев Иван Владимирович

Иван Владимирович Цветаев – профессор Московского университета, основатель и собиратель Музея изящных искусств (ныне Музея изобразительных искусств), выдающийся филолог. (5-6). Мечта о музее началась в те времена, когда мой отец, сын бедного сельского священника села Талицы, Шуйского уезда, Владимирской губернии, откомандированный Киевским университетом за границу, двадцатилетним филологом впервые вступил ногой на римский камень. Но я ошибаюсь: в эту секунду создалось решение к бытию такого музея. Мечта о музее началась, конечно, до Рима – ещё в разливанных садах Киева, а может быть, ещё в глухих Талицах, Шуйского уезда, где он за лучиной изучал латынь и греческий.

Мечта о русском музее скульптуры была, могу смело сказать, с отцом сорожденная. Год рождения моего отца – 1846 г. (5-155).

В 1874–1876 г. Цветаев работал в Италии, занимаясь толкованием древнейших надписей на окском и умбромском языках.

Отец языки знал отлично, но, как самоучка, и пища и говоря, именно переводил с русского. Кроме итальянского, который знал как родной и на котором долгие годы молодости читал в Болонском университете. Немецкую переписку отца я вела до самой его кончины (5-160).

И.В. Цветаев был женат первым браком на Варваре Дмитриевне Иловайской, первой любви, вечной любви, вечной тоски моего отца (5-105).

Отец мой – страстный, вернее – отчаянный, ещё вернее – естественный ходок, ибо шагает как дышит, не осознавая самого действия. Перестать ходить для него то же, что для другого – перестать дышать (5-171).

Музей был заложен. Отец же три дня подряд напевал свой единственный за жизнь мотив: три первых такта какой-то арии Верди (5-156). А знал он только всего один мотив – из “Аиды” – наследие первой жены, певчей и рано умолкшей птицы (5-18).

Ближайшим сотрудником моего отца была моя мать, Мария Александровна Цветаева, рожденная Мейн. Она вела всю его обширную иностранную переписку...

Года за два до открытия музея отцу предложили переехать на казенную директорскую квартиру, только что отстроенную: просторная, покойная, все комнаты в ряд, кухня тут же – и через двор носить не нужно, электричество – и ламп наливать не нужно, и ванна – и в баню ходить не нужно – все под рукой...

– “Я всю жизнь провел на высокой ноте! В этом доме родились все мои дети... Сам тополя сажал... Я на это дело положил четырнадцать лет жизни... Зачем мне электричество?!”

А квартиру отдать семейным служащим, как раз четыре квартирки выйдут, отличные...

Две комнаты и по кухне...” – Так и было сделано (5-161).

В ту же весну отец из Германии привез от себя музею – очередной подарок: машинку для стрижки газона, – “А таможене не платил, ни-ни. Упаковал её в ящичек, сверху заложил книжками и поставил в ноги. – А это что у вас здесь? – Это? – Греческие книжки. – Ну, видят – профессор, человек пожилой, одет скромно, врать не будет... Да на пошлину вторую такую стрижку купить можно”.

Думаю, что это был единственный за жизнь противозаконный поступок моего отца.

Впрочем, он для музея был готов на несравненно – большее... (5-161).

Для отца моего новая одежда была не радостью, а горем, если не катастрофой... Это

было не скупостью. Вернее – было. Скупостью в превосходной степени (5-174).

Скупость сына бедных родителей... – скупость, являющая собой сыновье уважение. Скупость бывшего нищего студента... – верность своей юности.

Скупость земледельца, знающего, с каким трудом земля родит деньги... – верность земле.

Скупость каждого, делом занятого, человека, знающего, что любая трата – прежде всего трата времени.

Скупость дающего, наконец: быть скупым, чтобы мочь раздаривать.

...А сколько бедных студентов, бедных ученых, бедных родственников поддерживал он! Но заметим себе: щедрость его была расчетлива в мелочах; вручая, например, студенту двести рублей на поездку в Италию, он не забывал уточнить: “А до вокзала отправляйся на трамвае, это в десять раз скорее и в десять раз дешевле, чем на извозчике: там пятак, а тут полтинник!” (5-175).

Все эти скупости недаром мне ведомы – я их унаследовала от отца, среди многого иного! (5-175).

Главный удар по отцовской “скупости” был нанесен мундиром. Мундиром “Почетного опекуна” (звание, полученное за создание музея). Мундиром, которого нельзя перелицевать, раз он ещё не существует. Который *должен* быть новее нового, ибо весь – в золотом шитье!

– Да, но это обойдется мне в семьсот рублей!

– Неужели за звание надо платить?

– За звание – нет. За мундир.

– Как! У тебя будет мундир? Шитый серебром?

– Если бы серебром...

Наконец мундир готов... – Хорош – даже слишком! (И, повторяя привычный свой припев:) Семьсот рублей потратить на себя! Стыд и позор! – Так это же не на себя, а для музея, папа!... И-со вздохом: – Разве что для музея... (5-176).

В день открытия музея рано утром – звонок. Звонок – и венки – лавровый! Это наша старая семейная приятельница, обрусевшая неаполитанка, приехала поздравить отца с великим днем. – От лица моей родины... Здесь

не умеют чтить великих людей... Иван Владимирович, вы сделали великое дело! – Полноте, полноте, голубка, что вы меня конфузите! Просто осуществил свою давнишнюю мечту. Бог дал – и люди помогли. (5-164).

Молебен (по случаю открытия Музея) окончен. Вот государь говорит с отцом, и отец, как всегда, чуть склонив голову на бок, отвечает. Государь, сопровождаемый отцом последовал дальше, за ним, как по волшебной дудке Крысолова, галуны, медали, ордена... (5-169).

Отец мой скончался 30 августа 1913, год и три месяца спустя открытия музея (5-179).

Цветаева (урожденная Пшицкая) Евгения Михайловна (1895–1987) – агроном, библиограф; жена Андрея Цветаева.

8-го днем ему (Андрею) стало хуже и он сказал жене: – Женечка, я умираю (7-242).

Цветаева Инна Андреевна (1931-1985) – агроном, кандидат биологических наук; дочь Андрея Цветаева.

Его девочка (Инна) целую неделю всё – А где папа, мама? Нет папы – папа ушел? Он в день смерти простился с женой и обеими девочками: дочкой и падчерицей (11 лет), которую очень любил (7-241).

Цветаева-Милеева Ирина Александровна (1921–1983) – дочь Е.М. Цветаевой от первого брака. Специалист по французской литературе.

Цветаева Марина Ивановна.

Я у своей матери старшая дочь, но любимая – не я. Мною она гордится, вторую любит. Ранняя обида на недостаточность любви (5-6).

Страсть к книгам – от матери, страсть к работе и к природе – от обоих родителей (5-6).

Главенствующее влияние – матери: музыка, природа, стихи, одиночество (5-661).

Слуху моему мать радовалась и невольно за него хвалила (5-10).

Мать...музыкой залила нас, как кровью, кровью второго рождения... И как я могла не чувствовать к нему отвращения? Рожденный музыкант бы переборол. Но я не родилась музыкантом... (5-20).

Первые языки: немецкий и русский, к семи годам – французский.

Любимое занятие с четырех лет чтение, с пяти лет – писание. Все, что любила – любила до семи лет, и больше не полюбила ничего.

Сорока лет от роду скажу, что все, что мне суждено было узнать, – узнала до семи лет, а все последующие сорок – осознавала.

Пушкин меня заразил любовью. *Словом – любовь.* (5-65).

– Смотри, Муся, – запомни, – говорил отец, – что ты нынче, четырех лет от роду, видела сына Пушкина. Потом внукам своим будешь рассказывать. (5-64).

Из писателей любимые: Сельма Лагерлеф, зигрид Ундсет, Мэри Вебб. (5-7).

Осенью 1902 г. уезжаю с больной матерью на Итальянскую Ривьеру. Пишу Революционные стихи, которые печатают в Женеве.

Весной 1902 г. поступаю во французский интернат в Лозане. Пишу французские стихи (5-6).

Летом 1904 г. еду с матерью в Германию, где поступаю в интернат во Фрейбурге. Пишу немецкие стихи. Осенью 1906 г. поступаю в интернат московской гимназии Фон-Дервиз. Пишу Революционные стихи.

Летá – за границей, в Париже и в Дрездене. Дружба с поэтом Эллисом и филологом Нилендером.

В 1910 г. издаю свою первую книгу стихов – “Вечерний Альбом” – стихи 15, 16, 17 лет. – Знакомлюсь с поэтом М. Волошиным.

Замуж за Сергея Эфрона выхожу в 1912 г. В 1912 г. выходит моя вторая книга стихов “Волшебный фонарь” и рождается моя первая дочь – Ариадна. В 1920 г. умирает в приюте моя вторая дочь, Ирина. В 1922 г. уезжаю за границу, где остаюсь 17 лет, из которых 3 с половиной года в Чехии и 14 лет во Франции.

В 1939 г. возвращаюсь в Советский Союз – вслед за семьей и чтобы дать сыну Георгию родину.

Цветаева Мария Александровна (1868–1906) – мать – польской княжеской крови страстная музыкантша, страстно любит стихи и сама их пишет (5-6). М.А. была человеком одаренным: прекрасно рисовала, много переводила, великолепно пела, – ученица Рубинштейна.

...Моя мать выбрала самый тяжелый жребий – вдвое старшего вдовца с двумя детьми, влюбленного в покойницу, – на детей и на чужую беду вышла замуж, любя и продолжая любить *того*, с которым потом никогда не ис-

кала встречи и которому, впервые и нечаянно встретившись с ним на лекции мужа, на вопрос о жизни, счастье и т.д., ответила: “Моей дочери год, она очень крупная и умная, я совершенно счастлива...” (5-72).

Мать залила нас музыкой... Мать залила нас всей горечью своего несбывшегося признания, своей несбывшейся жизни... (5-20).

Мать точно заживо похоронила себя внутри нас – на вечную жизнь. Мать не воспитывала – испытывала: силу сопротивления – подается ли грудная клетка? Нет, не подалась, а так раздалась, что потом – теперь – уже ничем не накормишь, не наполнишь.

Мать поила нас из вскрытой жилы Лирики, как и мы потом, беспощадно вскрыв свою, пытались поить своих детей кровью собственной тоски. *Их счастье – что не удалось, наше – что удалось.*

Бедная мать, как я её огорчала и как она никогда не узнала, что вся моя “не музыкальность” была – всего лишь *другая музыка!*

После такой матери мне оставалось только одно: стать поэтом.

Ближайшим сотрудником моего отца была моя мать Мария Александровна Цветаева, рожденная Мейн. Она вела всю его обширную иностранную переписку (в совершенстве владела четырьмя иностранными языками). И, говоря о её помощи отцу, я прежде всего говорю о неослабности её духовного участия, чуде женской причастности, вхождение во все и выхождения из всего – победителем. Помогать мужу было прежде всего духовно помогать отцу: верить в него, а когда нужно, и за него.

Главной же тайной её успеха были, конечно, не словесные обороты, которые есть только слуги, а тот сердечный жар, без которого словесный дар – ничто (5-159).

Мать до последней секунды помнила музей и, умирая, последним голосом, из последних легких пожелала отцу счастливого завершения его (да и её!) детища. Думаю, что не одних нас, выросшими видела она предсмертным оком (5-160).

Это было её последнее лето... Последнее – смертное. Июнь 1906 года. До Москвы не доехали, остановились на станции “Туруская”. Последние её слова были: – Мне жалко только музыки и солнца (5-31).

Когда моя мать заболела и мы уехали за границу, она все оставила дома – броши, кольца, серьги и т.д. – потому что их *не любила* (Наследство и свадебные подарки.). А когда четыре года спустя – после смерти матери – мы вернулись в Москву, – ничего уже не было, одни футляры (7-364).

Самое изумительное, что наша мать, как две капли воды похожая на нас, дочерей, оставила нам очень много стипендиатов, которым мы регулярно должны были помогать, среди них – трех революционеров: двух мужчин (евреев) и юную девушку, все – легочно больные, ее знакомые по санаторию (Нерви, близ Генуи) – там, за время ее короткой болезни, она встретила и полюбила их (7-363). Наша последняя выплата была еще в апреле 1917-го. (7-364)

Эфрон <...> Я сейчас (впрочем, уж целую зиму!) ставлю памятник на Монпарнасском кладбище родителям и брату Сергея Яковлевича. Теперь нужна надпись – и в последнюю минуту оказалось, что лицо, купивши место, подписалось на французский лад Effront, и это Effront – во всех последующих бумагах пошло и утвердилось – и теперь директор кладбища *не* разрешает на стене Efron, а требует прежней: по мне безобразной, ибо все члены семьи: с тех пор как я в нее вступила, подписывались – и продолжают – Efron. <...> это были чудные люди (все трое!) и этого скромного памятника (с 1910г.!) заслужили (7-91).

Эфрон Ариадна Сергеевна – Аля (1912–1975). *Аля* – *Ариадна* Эфрон – родилась 5-го сентября 1912 г. в половину шестого утра, под звон колоколов. (4-556). Я назвала дочь Ариадной – вопреки Сереже (мужа), который любит русские имена, папе, который любит имена простые, друзьям, которые находят, что это “салонно”. Назвала от романтизма и высокомерия, которые руководят всей моей жизнью... – Ариадна! Ведь это ответственно! – Именно потому. (1-597)

Крестной матерью Али была Елена Оттольдовна *Волошина* – Пра.

Крестным отцом – мой отец И.В. Цветаев. (4-559).

Аля! – маленькая тень
На огромном горизонте.
Тщетно говорю: не троньте.
Будет день – ... (1-189).

Эфрон Георгий Сергеевич. А вчера я совершила подвиг: уступила Сергею Яковлевичу имя Бориса, которого мне так хотелось (в честь моего любимого современника, *Бориса Пастернака*). Мальчик будет называться *Георгий*... (6-337).

Крестной матерью Мура стала Ольга Чернова; крестным отцом – Алексей Ремизов.

Эфрон Ирина. В феврале этого года умерла Ирина – от голоду – в приюте, за Москвой. Ирине было почти три года – почти не говорила, производила тяжелое впечатление, все время раскачивалась и пела. Слух и голос были изумительные (6-190).

Отыйди, отыйди, Враг!
Храни, Триединый,
Наследницу вечных благ
Младенца *Ирину!* (1-425).

Эфрон Сергей Яковлевич – <...> довожу до вашего сведения – родился в Москве, в собственном доме Дурново. Гагаринский переулок (приход Власия).

Детство Сергея Эфрона проходит в революционном доме среди непрерывных обысков и арестов. Почти вся семья сидит: мать – Петропавловской крепости, старшие дети – Петр, Анна, Елизавета и Вера Эфрон – по разным тюрьмам (7-661).

В 1911 г. я встречаюсь с Сергеем Эфроном. Нам 17 и 18 лет. Он туберкулезный. Убит трагической гибелью матери и брата. Серьезен не по летам. Я тут уж решаю никогда, что бы ни было, с ним не расставаться и в январе 1912 г. выхожу за него замуж.

В 1913 г. Сергей Эфрон поступает в московский университет, филологический факультет. Но начинается война и он едет братом милосердия на фронт. В Октябре 1917 г. он, только что окончив Петергофскую школу прапорщиков, сражается в Москве в рядах белых и тут же едет в Новосибирск, куда прибывает одним из первых 200 человек. За все Добровольчество (1917 г. – 1920 г.) – непрерывно в строю, никогда в штабе. Дважды ранен (7-661).

Больной человек (туберкулез, болезнь печени), он уходил с раннего утра и возвращался поздно вечером. Человек – на глазах – горел. Бытовые условия – холод, неустроенность квартиры – для него не существовали. Темы, кроме Советского Союза, не было никакой. Не

зная подробности его дел, знаю жизнь его души день за днем, все это совершилось у меня на глазах, – целое перерождение человека (7-662).

Детство: русская няня, дворянский дом, обрядность.

Отрочество: московская гимназия, русская среда.

Юность: женитьба на мне, университет, военная служба, Октябрь, Добровольчество. Ныне – евразийство (7-184).

Эфрон Вера Яковлевна – сестра Сергея Яковлевича Эфрон.

Эфрон Елизавета Яковлевна – сестра Сергея Яковлевича Эфрон, мужа Цветаевой.

Умерла Ирина – от голоду – В приюте... Лиля и Вера вели себя хуже, чем животные, – вообще все отступились (6-190).

Эфрон Яков Константинович – отец Сергея Яковлевича – прославленный, в молодости народоволец (7-184). В семье хранится его молодая карточка в тюрьме, с казенной печатью: “Яков Константинович Эфрон. Государственный преступник” (7-661).

Ярхо – Ася! Муся! А что я вам сейчас скажу-у-у! – это длинный, быстрый, с немножко – волчьей – быстрой и смущенной – улыбкой Андрюша, гремя всей лестницей, ворвался в детскую. – У мамы сейчас был доктор Ярхо – и сказал, что у нее чахотка – и теперь она умрет – и будет нам показываться вся в белом!

Ася заплакала, Андрюша запрыгал, я – я ничего не успела, потому что следом за Андрюшей уже входила мать.

– Дети! Сейчас у меня был доктор Ярхо и сказал, что у меня чахотка, и мы все поедем к морю. Вы рады, что мы едем к морю? (5-83).

Среди этих имен проходит детство и юность М. Цветаевой – это, как правило, имена, отражающие культуру России XIX начала XX веков.

Каждое имя названное Цветаевой раскрывается в словаре через призму ее мироощущения, ее личной мерой человеческих отношений. Она признается: “Чем больше я вас оживляю, тем больше сама умираю, отмираю для жизни, – к вам, в вас – умираю. Чем больше вы – здесь, тем больше я – там. Точно уже снят барьер между живыми и мертвыми, и те и другие свободно ходят во времени и в пространстве – и в их обратном. Моя смерть – плата за вашу жизнь. Чтобы оживить Аидовы тени, нужно было напоить их живой кровью. Но я дальше пошла Одиссея, я пою вас – своей” (4-409,410).

Невозможно описать духовную обстановку в семье Цветаевых без всемирно известных имен поэтов, писателей, художников, музыкантов, композиторов, скульпторов, исторических деятелей, мифологических героев. Все эти имена будут описаны в других номинациях.